

С.Т. Аксаков

Знакомство с Державиным

<...> Из залы налево была дверь в кабинет Державина; я благоговейно, но смело вошел в это святилище русской поэзии. Гаврила Ромаиыч сидел на огромном диване, в котором находилось множество ящиков; перед ним на столе лежали бумаги, в руках у него была аспидная доска и грифель, привязанный ниткой к раме доски; он быстро отбросил ее на дивен, встал с живостью, протянул мне руку и сказал: «Добро пожаловать, я давно вас жду. Я читал ваши прекрасные стихи (Державин был плохой судья и чужих и своих стихов), слышался, что вы мастерски декламируете, и нетерпеливо хотел с вами познакомиться». Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстука, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком и с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал как две капли воды. Я отвечал Державину искренно, что «считаю настоящую минуту счастливейшей минутой моей жизни и если чтение мое ему понравится...» Он прервал меня, сказавши: «О, я уверен, что понравится; садитесь вот здесь, поближе ко мне», — и он посадил на кресло возле самого дивана. «Вы чем-то занимались, не помешал ли я вам?» — «О, нет, я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лице перецеголял всех писателей. Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны? Вы оренбурец и казанец, и я тоже; вы учились в казанской гимназии сначала и потом перешли в университет, и я тоже учился в казанской гимназии, а об университете тогда и не помышлял. Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всем расспросил брата вашего. Мое село, Державино, ведь не с большим сто верст от имени вашего батюшки (сто верст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии)...» Гаврила Романыч подозвал к себе моего брата, приласкал его, потрепав по плечу, и сказал, что он прекрасный молодой человек, что очень рад его дружбе с своими Капнистами, и прибавил: «Да тебе не пора ли на учење? приятели твои, я видел, ушли» — «Пора, Гаврила Романыч, — отвечал мой брат, — и я сейчас пойду». — «Ступай с Богом, а с братцем твоим мы уже познакомимся». И мы остались одни. Державин был так деликатен, что не заставил меня сейчас читать, хотя ему очень этого хотелось, как он впоследствии, смеясь, мне признавался. Он завел со мною довольно длинный разговор об Оренбургском крае, о тамошней природе, о Казани, о гимназии, университете и на этот раз заставлял уже больше говорить меня, а сам внимательно слушал. Я говорил без запинки, с одушевлением, и несколько раз наводил разговор на стихи и, наконец, как-то кстати, прочел несколько его стихов из стихотворения «Арфа», где он обращается к Казани.

Лицо Державина оживилось, глаза вспыхнули. «Вы хотите мне что-нибудь прочесть», — воскликнул он, и в глазах его засветился тот святой огонь, который внушил ему многие бессмертные строфы. «Всею душой хочу, — отвечал я, — только боюсь, чтобы счастье читать Державину его стихи не захватило у меня дыханья». Державин взглянул на меня и, видя, что это не комплимент, а чистая правда, схватил меня за руку и ласково промолвил: «Так успокойтесь». Наступило молчание.

Державин встал и начал выдвигать ящики, которых находилось множество по бокам его большого дивана и как-то над спинкой дивана. На ящиках бронзовыми буквами были написаны названия месяцев, а на некоторых — года. Гаврила Романыч долго чего-то

искал в них и, наконец, вытащил две огромные тетради или книги, переплетенные в зеленый сафьянный корешок. «В одной книге мои мелочи, – сказал он, – а об другой поговорим после. Вы что хотите мне читать? верно, оды: Бога, Фелицу или Видение Мурзы?» — «Нет, – отвечал я, – их читали вам многие, особенно актер Яковлев. Я желаю прочесть вам оду на смерть князя Мещерского и Водопад». — «А я хотел вам предложить прочесть мою трагедию». — «Сердечно рад, но позвольте мне начать этими двумя стихотворениями». — «Извольте». — «Я знаю наизусть почти все ваши стихи; но на всякий случай я желал бы иметь в руках ваши сочинения; верно, они есть у вас». — «Как не быть, – улыбнувшись, сказал Державин, – как сапожнику не иметь шильев» (сравнение довольно странное), – и он достал, также из ящика, свои стихотворения, богато переплетенные в красный сафьян с золотом. Я знал, что читать, сидя очень близко от человека, которому читаешь, неудобно и невыгодно, и потому пересел на кресло, стоявшее довольно далеко от Державина; он хотел удержать меня, говоря, что не так будет слышно, но я уверил его, что он услышит все. Наружное мое волнение затихло и сосредоточилось в душе. Я прочел оду к Перфильеву на смерть князя Мещерского. С первыми стихами:

Глагол времен, металла звон,
Твой страшный глас меня смущает.
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает, —

Державин превратился в слух, лицо его сделалось лучезарным, руки пришли в движение. Когда я прочел:

Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и серебре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны —
И точит лезвие косы, —

Державин содрогнулся. Едва я произнес последние стихи:

Жизнь есть небес мгновенный дар,
Устрой ее себе к покою,
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар, —

Державин уже обнимал меня со слезами на глазах. Он не вдруг стал меня хвалить. Он молча сел опять на свое место, посадил и меня на прежнее кресло и, держа за руку, сказал тихим, растроганным голосом: «Я услышал себя в первый раз...» — и вдруг прибавил громко, с каким-то пошлым выражением (что меня очень неприятно поразило): «Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! вы его, батюшка, за пояс заткнете», и в то же время я заметил, что Державин вдруг сделался чем-то озабочен, что у него было что-то другое на уме. Он опять встал, вынул другую рукописную книгу; несколько раз брал в руки то ту, то другую и, наконец, одну спрятал, а другую оставил на столе. Я видел ясно, что сильное впечатление, произведенное чтением оды к Перфильеву, у Державина быстро прошло и что ему ужасно хочется, чтоб я читал трагедию. Скрепя сердце я пожертвовал на этот раз «Водопадом» и хорошо сделал: Державин стал бы слушать меня рассеянно. Впоследствии я нашел минуту, когда он свободно мог устремить все свое внимание на это чудное стихотворение, дико составленное, но богатое первоклассными красотами: выражение этих красот было им тогда почувствовано вполне. — Итак, я обратился к Державину, держащему в руках большой том в зеленом корешке и рассеянно смотревшему в сторону: «Позвольте мне теперь прочесть вам трагедию». — «Знаете ли, о чем я думаю? – с живостью сказал он. – Вам трудно будет читать в первый раз рукопис-

ное сочинение». Я отвечал, что это правда, что даже печатную драматическую пьесу нельзя в первый раз прочесть хорошо, что надобно предварительно понять, вникнуть в характеры лиц, изучить ход сильных сцен; что я не читаю никогда никакой большой пьесы другим, не прочитав ее предварительно вслух самому себе. — С живостью и удовольствием подал Державин мне обеими руками зеленый том и сказал: «Так возьмите, прочтите, изучите и, когда будете готовы, тогда прочтите мне. Но вот что: вы, верно, читали или слышали на театре «Ирода и Мариамну»; прочтите мне из нее некоторые сцены», — и, не дождавшись ответа, он позвонил и приказал вошедшему человеку собрать экземпляр этой трагедии из печатных листов, лежавших большим тюком в нижнем ящике того же дивана. Разумеется, я сказал, что пьесу знаю и прочту с большим удовольствием, и это была правда. Я был в таком лирическом настроении, что рад был читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй, неизвестного языка, — будут полны чувства и произведут сочувствие. Этим, по-моему, объясняется удивительный и нередкий факт, что на сцене истинные артисты приводили в восхищение слушателей, не знающих языка представляемой пьесы. — Между тем Гаврила Романыч послал за своей женой, племянницей (П.Н. Львовой) и племянником, служившим в статской службе, Капнистом. Пришли первая и последний; племянница была еще не готова и явилась к концу чтения. Нетерпение Державина было очевидно: он едва познакомил меня с своей женой, а с Капнистом даже и не познакомил. Я начал читать и без всяких выпусков прочел трагедию до конца, отдыхая не более двух-трех минут между действиями. Меня уговаривали отдыхать побольше, но я не соглашался: трагедия была небольшая, и притом я чувствовал, что моя восторженность может охладеть, а тогда все погибло. Это чтение было единственным явлением в продолжение тридцатипятилетнего моего поприща в качестве чтеца, — явлением психологическим и весьма замечательным. Чтобы вполне понять мои слова, надобно взять «Ирода и Мариамну» и попробовать прочесть ее вслух. Я сам впоследствии, достигнув несравненно большего искусства в чтении, не один раз пробовал исполнить этот подвиг — и не находил возможности не только чем-нибудь воспламениться, но даже сносно прочесть и еще менее заставить других прослушать с участием хоть две страницы... а тогда я читал около полутора часа, и каждое слово было полно какого-то огня, какого-то чувства! Чтение было в то же время — мало сказать не верно, не сообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно. Я чувствовал это хотя не ясно в самое то время, как читал. С полным сознанием и искренностью повторяю теперь, что чтение происходило на неизвестном мне языке; но тем не менее и на других и на меня произвело оно магическое действие. Можно себе представить, что было с Державиным! Он решительно был похож на человека, одержимого корчами. Все мои сердечные ноты, каждый переход из тона в тон, каждый одушевленный звук предчувствовала его восприимчивая страстная душа! Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело было в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятьям — не было конца, а моему счастью — не было меры. Державин через несколько минут схватился за аспидную доску и стал писать грифелем. Все присутствующие, кроме меня, вышли. Разумеется, я догадался, что Державин пишет стихи на мое чтение, и не ошибся. Торопливо писала его дрожащая рука и беспрестанно стирала написанное. Мне показалось, что писание продолжалось с полчаса. Наконец Гаврила Романыч взял читанную мною трагедию и на первом мягком листе, вверху названия трагедии, написал четыре стиха. Мне самому труднее, чем всякому другому, поверить, что я не помню этих стихов. Я тогда имел такую память, что с одного раза мог запомнить несколько куплетов, если только стихи мне нравились. Что книжка, подаренная Державиным, с его стихами, собственноручно написанными, у меня пропала — это не диковинка; я растерял в жизнь мою немалое число книг моих с надписями их авторов, иногда глубоко мною уважаемых,

но не запомнить четырех стихов Державина, мне написанных, при моем благоговении к Державину, при моей памяти — это просто невероятно! Впрочем, дело объясняется несколько тем, что книга пропала у меня в первые два-три дня. Только и помню, что стихи, весьма не гладкие, оканчивались словами: «Себя услышал в первый раз», словами, вырвавшимися у него после чтения оды на смерть Мещерского. Несказанно счастливый мыслью, что я мог привести в восхищение величайшего из поэтов (так я думал тогда), опьяненный от восторга и удовлетворенного самолюбия, я поспешил уйти от Державина, чтоб поделиться моими чувствами с моими друзьями. Само собой разумеется, что я сделался частым и любимым гостем «Певца Фелицы», как выражались тогда литераторы и дилетанты русской словесности. Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать день и ночь. Чего не перечитал я Державину! И переведенную им «Федру» Расина, и собственные его трагедии: «Св. Евпраксию», «Аталибу, или Покорение Перу», «Сумбеку (кажется, так), иди Покорение Казани» и проч., и сверх того два огромные тома в лист разных мелких его сочинений в стихах и прозе, состоявшие из басен, картин, нравственных изречений, всякого рода надписей, эпитафий, эпиграмм и мадригалов, — все это перечитал я по нескольку раз. Я не говорю здесь о собственных записках Державина, имеющих большой интерес; я их видел, перелистывал, но не читал. При наших же стихотворных чтениях нередко с грустью думал я: умрет Державин, этот великий лирический талант, и все читаемое теперь мною, иногда при нескольких слушателях, восхищающихся из уважения к прежним произведениям писателя или из чувств родственных и дружеских, — все будет напечатано для удовлетворения праздного любопытства публики, между тем как не следует печатать ни одной строчки. Но благодарение разумной разборчивости его наследников: из рукописных сочинений, о которых я говорю, — именно не было напечатано ни одной строчки, сколько мне известно. Между тем, надобно сказать правду, кроме выгод чисто материальных, можно было соблазниться исполнением желания горячих поклонников Державина: ибо в этой громаде стихов, лишенных всякого достоинства, изредка встречались стихи очень сильные и блестящие лиризмом, впрочем, по большей части не свойственные лицу, их произносившему. В мелких стихотворениях также изредка мелькал, может быть, не строго верный, но оригинальный взгляд и если не цельный, то односторонне-живой и поэтический образ. Вулкан потухал; но между грудями камней, угля и пепла мелькали иногда светлые искры прежнего огня. — Дарования драматического Державин решительно не имел; у него не было разговора — все была песнь; но, увы, он думал, что его имеет; часто говорил он мне с неуважением о своих одах и жалел, что в самом начале литературного своего поприща не посвятил себя исключительно трагедии и вообще драме. «Аталиба», трагедия в пяти действиях, с хорами и великолепным, не исполнимым на сцене спектаклем, была любимым его произведением. В ней главный эффект основывался на солнечном затмении: Пизарро, захваченный в плен мексиканцами со всей свитой и в оковах ожидающий казни, предсказывает потемнение солнца как знамение гнева небесного; солнце в предписанную минуту помрачается (все это происходит на сцене), и победители упадают к ногам побежденных, освобождают их и признают своими повелителями. Помню я из этой трагедии один стих, который ценился Державиным выше всего. Аталиба, упрекая Пизарро в жадности к золоту, говорит длинный монолог, который оканчивается так:

Вы преплыли моря, расторгнув крови связь,
Чтоб из-под наших ног увезть блестящу грязь.

Может быть, я что-нибудь и перепутал в первом стихе, но второй верен буквально. Из мелких своих сочинений Державин особенно любил одно осьмистишие, которым, по его мнению, вполне обрисовывались трое знаменитых наших баснописцев: Хемницер, Дмитриев и Крылов, из которых первого он предпочитал остальным за простоту и естественность рассказа. Стихов не помню, но содержание их состоит в том, что три поэта являются к Аполлону, который говорит Дмитриеву: ты ловок, образован и ввел

басню в гостиную; Крылову — ты колок, народен и умен; а Хемницеру Аполлон протягивает руку, жмет ее, «и ни слова». Этими словами заключается стихотворение.

Почти всякий раз, как я бывал у Державина, я упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитростям: предлагал какое-нибудь сомнение, притворялся не понимающим некоторых намеков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми лучшими или, напротив, самыми слабыми, иногда читал его стихи наизусть в подтверждение собственных мыслей, нравственных убеждений или сочувствия к красотах природы. Гаврила Романыч легко поддавался такому невинному обману и вступал иногда в горячий спор, но редко удавалось мне возбудить в нем такое сильное чувство чтением прежних его стихов, какое обнаружил он в первое наше свидание, слушая оду к Перфильеву. По большей части по окончании чтения он с улыбкой говаривал: «Ну да, это недурно, есть огонь, да ведь пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет; все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои антологические пиесы будут оценены и будут жить».

Безгранично предаваясь пылу молодого восторга при чтении его прежних пустяков, я уже не мог воспламениться до самозабвения, как это случилось со мной при чтении «Ирода и Мариамны». Державин это чувствовал, хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации; он досадовал и огорчался. «У вас все оды в голове, — говорил он, — вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете». Иногда, впрочем, он бывал доволен мною. — Державин любил также так называемую тогда «эротическую поэзию» и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою «р». Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишённые прежнего огня, замененного иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пиесу «Аристиппова баня», которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «Не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» — «Ничего, — возразил, смеясь, Гаврила Романыч, — у девишек уши золотом завешены».

Так продолжалась моя жизнь около месяца; все время, свободное от необходимых дел и свиданий в Петербурге, проводил я в доме Державина, который в последние дни казался не так здоровым. Наконец, один раз пришел я к нему обедать, что бывало довольно часто. Швейцар встретил меня с обыкновенной ласковой улыбкой, но сказал мне, чтоб я вызвал камердинера Гаврилы Романыча, который имеет до меня какую-то надобность. Я несколько удивился и, взошед наверх, встретил этого самого камердинера; он сказал мне, что Дарья Алексеевна (жена Державина) просит меня, не входя в кабинет к Гавриле Романычу, повидаться с ней и для того наперед зайти в гостиную; я удивился еще более и поспешил к разгадке. Дарья Алексеевна, несколько встревоженная, весьма учтиво и ласково сказала мне, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него сильное раздражение нерв и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гаврила Романыч слушает мое чтение, что она просит, умоляет меня несколько времени не ходить к больному или ходить, но не читать под каким-нибудь предлогом; «а всего лучше скажитесь больным, — прибавила она, — если он вас увидит, то начнет так приставать, что трудно будет отказать ему». Я сейчас почувствовал, что все это совершенно справедливо. Я уже говорил, как Державин слушал мое чтение в первое наше свидание; точно то же продолжалось до сих пор, если не всегда при слушании прежних од, то всегда при слушании трагедий. Я вспомнил, какое изнеможение выражалось на лице Державина после наших, иногда долгих, дообеденных или вечерних чтений. Мне стало совестно, и я покраснел до ушей. Я сказал Дарье Алексеевне, что мне больно, и грустно, и досадно

на себя, для чего я сам давно этого не заметил. Она призналась мне, что уже с неделю всякий день собирается поговорить со мной об этом, что она боялась оскорбить меня и что Боже сохрани, если узнает об этом Гаврила Романыч. Я поспешил ее успокоить и прибавил, что я сам болен, что доктор давно требует, чтоб я сидел дома, и что я выезжал единственно для Гаврилы Романыча. Все это была совершенная правда, только я был болен не от чтения, а от петербургского климата, от которого уже поотвык. Хозяйка благодарила меня искренно и упрашивала, чтоб я в доказательство, что не сержусь на нее, остался у них обедать. «Гаврила Ромаиыч не выходит из кабинета и не узнает, что вы были здесь», – прибавила она очень приветливо. Я не остался под предлогом, что должен держать строгую диету; мне показалось как-то странно оставаться в доме контрабандой от хозяина. Я приехал, однако, вечером к Державину, сказал ему, что я давно нездоров, что должен лечиться и, может быть, недели две не выйду из комнаты. Гаврила Романыч чуть не заплакал и так огорчился, что я испугался вредных последствий. Он сам был, очевидно, нездоров. Глаза у него были мутные, и пульс бился, как в лихорадочном жару, но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался мне, что с некоторого времени хотят уверить его, что он хворает, а он, напротив, давно не чувствовал себя так бодрым и крепким. Наконец, он отпустил меня в *лазарет* (как он выразился) и обнял на прощанье несколько раз, прибавив, что кстати исполнит просьбу жены и, хотя без надобности, сам полечится в это время.

Много было шуток и смеха в Гарновском доме, где я был хорошо знаком почти со всеми офицерами, а также и в близком, родственном кругу Державина. Говорили, что я *зачитал* старика и сам *зачитался* и что мы оба принуждены были не шутя лечиться. Молва подхватила это простое событие и распустила по городу — с обычными украшениями. Я сам после слышал, как рассказывал один господин, что «какой-то приезжий, сумасшедший декламатор и сочинитель, едва не уморил старика Державина чтением *своих* сочинений и что, наконец, принуждены были чрез полицию вывести этого чтеца-сочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю».